Лев Аннинский

**Эфронт Марины Цветаевой**

*Мама, что такое Наполеон?*

*Как? Ты не знаешь, что такое Наполеон?*

*Нет. Мне никто не сказал.*

*Да ведь это же — в воздухе носится!*

Диалог Марины с матерью

Список мужчин, в которых была влюблена Марина Цветаева, не покажется столь уж фантастическим, если учесть, что чувство любви она ощутила с момента, когда начала себя помнить; определить, кого полюбила «самого первого», не хотела, ибо всегда находился ещё и «до-первый», и, наконец, это чувство ничего общего не имело с такими пошлостями, как брак и замужество. На этот счёт она хорошо «высказалась» в отрочестве: дала объявление в «Брачную газету» и указала свой адрес в Трёхпрудном переулке. Мистификация кончилась скандалом: явившихся соискателей выпроваживал дворник. Отец семейства, тихий, самоотверженный музейщик, с трудом терпел такие шуточки дочери, привыкая к тому, что любовь для неё — не просто преимущественное состояние души, но род сомнамбулического безумия, мало считавшегося с реальностью.

Я, когда не люблю, — не я.

Итак, «самый первый» избранник сердца — Наполеон. Страсть простирается до того, что из личной иконы выброшен святой, а в оклад вставлен Бонапарт. Отец от такого кощунства в отчаянии, но дочь непреклонна. Любовь переносится и на Бонапартова сына; тут, к счастью, находится некощунственный выход: перевод Ростанова «Орлёнка» с французского на русский (в сущности, первое приобщение Марины Цветаевой к литературному труду).

Две эпохи спустя, отплывая из Франции в СССР на гибель, она вспомнит отплытие из Франции к острову Святой Елены своего первого избранника, обозначив его буквой N.

Следующие избранники — служители муз. Поэт-мистик Эллис (переводчик с французского, тепливший свечку перед портретом Бодлера). Поэт-антик Нилендер (переводчик Орфея и Гераклита, объяснивший Марине, что нельзя дважды войти в одну реку). В последнем случае дело едва не дошло до обручения... Бог спас.

От элементарностей Гименея молоденькую Марину Цветаеву уберегает миражный мир, её окруживший (точнее, ею сотворенный из того, что «в воздухе носится»). Но если дорасти до состояния, когда природа потребует своего, — тогда из «царства теней» выведет её на свет реальности даже и самый обыкновенный молодой человек (между прочим, её моложе).

Этот момент в жизни Марины Цветаевой рельефно высвечен в книге Виктории Швейцер: «Она жила в заколдованной стране своего одиночества... Вывел, расколдовал её — Серёжа Эфрон»1.

Насчёт того, кто кого «вывел», есть и другие мнения. Виктория Швейцер приводит ироническую строчку Софьи Парнок, обращенную к Сергею: «Не ты, о юный, расколдовал её». Это достаточный повод объясниться, что в патетических строчках Цветаевой, обращенных к Сергею, есть любовь, но нет эротики, которая пошла по другому адресу. Кто тут прав, Софья или Виктория (не удержусь от каламбура: спасёт ли нас Мудрость от сомнительной Победы), — я судить не хочу (хотя троих отпрысков свежеповенчанная пара в конце концов на свет произвела), — но что встреча с Сергеем Эфроном воспринята Мариной Цветаевой как провиденциальная в её (и его) судьбе — факт. Факт жизни. И факт поэзии.

Что он такое — для неё?

В нём — странное скрещенье вроде бы несовместимых начал. Не только русского и еврейского (каковой контакт для рубежа XIX-XX веков отнюдь ещё не столь обыкновенное дело, как для послереволюционной советской эпохи, когда евреи кинулись в столицы через упразднённую черту оседлости). Ещё разительней в древе Сергея — скрещенье психологических, социальных и политических ветвей: евреи (которым вроде бы указано судьбой идти в революцию) хранят старинный, раввинический, жестковыйный дух Завета. Из русских же — из рода Дурново (есть версия, будто мать Сергея приходилась племянницей московскому генерал-губернатору, но это спорно); бесспорно же вот что: из колен этого верноподданного русского рода выходит настоящая «тургеневская героиня» и идёт в революцию — рушить русское государство. Её путь: «Народная воля», террор, арест, суд, побег за границу. Дети, воспитанные в эсеровском духе. Один из сыновей, гимназист, играя в «казнь народовольца», случайно срывается с петлёй на шее. Узнав о его гибели, в ту же ночь вешается его мать.

Вырастая в этом безумии, Сергей Эфрон на всю жизнь приобретает комплекс: «шатость в устоях». Отсутствие точки опоры. Сиротство, взывающее к духовной опеке.

Марине важно даже не то, что тут скрестились две крови (в ней самой русское приправлено и немецким, и польским), и не то, что сошлись взаимоисключающие политические начала (у неё самой «декабристы и версальцы» запросто меняются ролями), — её потрясает то, что такой же, как и она, сомнамбулический изгой эпохи так же, как и она, ищет опору. И ищет — в ней!

И ещё: с первой встречи (в Коктебеле летом 1911 года) он влюбляется — на всю жизнь! — в её стихи. Для поэтов это едва ли не важнее самой жизни.

Литературные возможности Сергея Эфрона, как известно, некоторыми биографами берутся под сомнение. Но его рассказ «Волшебница», написанный в том же 1911 году, когда они влюбились друг в друга, свидетельствует и о явном таланте, и о тонком чувстве юмора, и о поразительной психологической проницательности.

Синяя юбка метнула меня по лицу. Сумасшедшая... Большая девочка в синей матроске. Короткие светлые волосы, круглое лицо, зелёные глаза, прямо смотрящие в мои.

Это же прямое попадание в портрет Цветаевой, написанный Магдой Нахман два года спустя!2

Когда мы на следующее утро вышли к чаю, мы не узнали вчерашней Мары. Серо-бледная, с крепко сжатыми губами, сидела она у стола, порывисто мешая свой кофе ложечкой. При виде нас она покраснела и молча протянула нам руку...

Считает нас слишком маленькими?..

—Днём она всегда такая...

Да это же всегдашняя «утренняя» Цветаева, в пепельном освещении изматывающей работы — такой её запомнит и опишет дочь Ариадна много лет спустя.

Сергей Эфрон в «Волшебнице» передаёт ощущение некоторого столбняка при появлении новой знакомой.

...она обедала стоя... отставившая тарелку, стояла, высоко подняв голову, — теперь кудри лежали у неё по плечам — и рассматривала свой дым.

Не могу отвязаться от наваждения: вот так же будет стоять она тридцать лет спустя в Елабуге перед петлёй, а по углам избы — отставленные мешочки с крупами, приготовленные на зиму. Ей будет сорок восемь.

В рассказе Эфрона ей — семнадцать. По «метрике». А по самоощущению?

— Мне уже не семнадцать, а двадцать семь, а тридцать семь, а сорок семь лет... От меня требуют разумного поведения, спокойного взгляда на жизнь, знания её. А в глубине я всё тот же сорванец, та же семнадцатилетняя, с тем же сердцем и той же душой... Мне приходится сдерживать себя, изменять настоящей себе из-за этого старого лица, — быть почтенной дамой, над которой я сама смеюсь. Это ужасно, ужасно!

Заметим и это: ничего «дамского»!

Рассказчику — не шестнадцать, как должно быть по «метрике», а лет на десять меньше. Реальный Сергей Эфрон (переименовавший себя в рассказе в Кира) моложе Марины на год. А по мироощущению — неизмеримо моложе. Слабее. Несчастнее. Вся немыслимость тогдашнего окружающего мира, всё «носившееся в воздухе», нависшее надо всем безумие — в нём.

«Взяла за руку и повела по жизни», — кажется, Виктория Швейцер цитирует в этой связи Эренбурга, развивавшего перед ней концепцию такого любовного союза: она «лепит» его образ, как мать — образ сына. Как поэт — своего героя. Как трагическая пифия — несчастного смертного, которого жизнь «швыряет из стороны в сторону».

Его портрет в её стихах:

На светло-золотистых дынях

Аквамарин и хризопраз

Сине-зелёных, серо-синих,

Всегда полузакрытых глаз.

«Венецианские глаза» Эфрона унаследует дочь Ариадна.

Я с вызовом ношу его кольцо.

—Да, в Вечности—жена, не на бумаге.

Его чрезмерно узкое лицо

Подобно шпаге.

Зачем Вечности — шпага? Что значат две капли в море крови?.. А брезжит трагедия.

Безмолвен рот его, углами вниз,

Мучительно-великолепны брови.

В его лице трагически слились

Две древних крови.

Какая «польза» от этого кровосмешения?

Он тонок первой тонкостью ветвей.

Его глаза — прекрасно-бесполезны! —

Под крыльями распахнутых бровей —

Две бездны.

Какое «будущее» у бездны?

В его лице я рыцарству верна.

— Всем вам, кто жил и умирал без страху.

Такие — в роковые времена —

Слагают стансы — и идут на плаху.

До плахи ему — ещё четверть века. А колокол уже бьёт. Стихи мечены 3 июня 1914 года...

В том, что Сергей Эфрон в военное время записывается в армию, некоторые исследователи усматривают прямое влияние Марины Цветаевой, желавшей видеть в своём избраннике воина и рыцаря. Такое же влияние можно усмотреть в воинском самоопределении Николая Гумилёва, желавшего быть воином в глазах Анны Ахматовой. С тою разницей, что Гумилёв и по характеру воин, а Эфрон — скорее мечтатель-миротворец. Первый, непримирённый, в конце концов будет казнён противниками-большевиками. Второй сначала попадёт к белым, потом к красным, и в конце концов будет тоже казнён (чекистами, к которым переметнётся).

Эта драма — впереди. А пока что солдатка пишет письма мужу-новобранцу, которого по рыцарскому ритуалу продолжает называть на Вы.

Я живу очень тихо... сижу в палисадни­ке, над обрывом, курю, думаю...

Это написано 19 октября 1917-го. За пять дней до большевистского переворота.

— А у нас недавно был большевик!.. «Да, да, прочёл нам целую лекцию. Обыватель — дурак, поэт — пророк, и только один пророк, — сам большевик».

— Кто ж это был?

Поэт Мандельштам.

Всё во мне взыграло.

Мандельштам прекрасный поэт.

— Кто знает конец... Мандельштама?

Может, и хорошо, что никто не знает? Конец Мандельштама — через два десятилетия. Конец Империи — через два дня...

...Как низки люди!.. Ах, Серёженька! Я самый беззащитный человек, которого я знаю. Я к каждому с улицы подхожу вся. И вот улица мстит. А иначе я не умею...

«Роковые времена» научат. И её. И Серёженьку.

Прапорщик Эфрон, перешедший с осени 1917 года на казарменное положение, описывает октябрьские дни в Москве так скрупулёзно, что не сообразишь, то ли это дневниковые записи, то ли они так обработаны литературно — «Записки добровольца». В любом случае, — это честный до бесхитростности репортаж о буднях офицера, оказавшегося на улицах столицы в дни Октябрьского переворота.

Неразбериха безначалия. Обречённые выплески воинской доблести. Уличное столпотворение, когда хорошо видны «дураки и дуры, которые ничего не чувствуют и ничего не понимают». Не так видны уличные мальчишки, похватавшие брошенное солдатами оружие и притаившиеся на крышах и чердаках. Комнатные же мальчики, явившиеся из гимназических классов к господам офицерам, хотят получить оружие, чтобы сражаться с уличными мальчишками.

Где, кто, почему, на чьей стороне? — не разберёшь. Видна только ненависть толпы к «золотопогонникам», а когда прапорщик переодевается в гражданское, — его всё равно опознают: «морда юнкерская».

Хорошо ещё, «венецианские глаза» не засекли. С таким же физиономическим восторгом чуть позднее Сергей Эфрон жи­вописует увиденную в вагоне простонародную деваху: пунцовые щёки, утиный носик, щёлки глаз... Квиты!

В этом впечатляюще описанном преставлении светов поразительны два зияющих ОТСУТСТВИЯ.

Отсутствие всякого намёка на то, за что и почему сражается этот прапорщик. Царю присягал? Да царь-то отрёкся. О какой присяге можно говорить после Февраля 1917 года? Кому хранить верность? Керенскому, что ли?!

Уже отвалив на Юг и записавшись в Белую армию, прапорщик Эфрон подаёт начальству нечто вроде проекта: вот если формировать полки, давая им имена городов (Московский, Петроградский, Киевский и т. д.), вдруг придут и средства из этих городов? И за этой интеллектуальной программой извольте уловить тоску по единству «всей остальной России»? Да любые четыре строчки Цветаевой из «Лебединого стана», слезами и кровью написанные, смоют эту запоздалую умозрительность!

Белый был — красным стал:

Кровь обагрила.

Красным был — белым стал:

Смерть побелила...

Но ни намёка на присутствие Цветаевой — в «ауре» офицерских записок Эфрона. И это второе зияющее ОТСУТСТВИЕ тоже взывает к объяснению. У него же дом «на Поварской», и — ни звука! Он что, присягу дал отречься от жены?

Представьте себе, дал. Уже в Новочеркасске подписал очередную присягу как солдат Добровольческой армии: «Отказаться от лич­ной жизни, чтобы отдать её — всю — спасению Родины». Особый пункт —«отречься от личных уз (родители, жена, дети)...»

И всё. Вываливается жена в какой-то тифозный бред, запись которого (уже от имени некоего вымышленного Василия Ивановича) примыкает к «Запискам добровольца»: странный сон, во сне он хочет постучаться в родное московское окно, а там — ни стекла, ни рамы...

В завершение эпизода — чья-то нацарапанная на стенке вагона надпись: «Моя любовь. Май, 11 год».

Тот самый, 1911-й...

По убеждению Ильи Эренбурга (который в 1921 году нашёл Сергея в Праге и «вернул» Марине), не уход мужа в Добрармию сделал Цветаеву певцом Белого дела, а наоборот, её отношение к событиям направило мужа на этот путь. Она, можно сказать, толкнула его на Юг...

Так может, разгадка его на этот счёт молчания тем и объясняется, что он, получивший от возлюбленной такое рыцарское напутствие, не решается признаться ей (и себе), что оно не выполнено?

Или это природная самоистребительная неустойчивость заставляет его тушеваться перед крутой определённостью её напутствия?

Вот это напутствие:

Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь — всем другим, зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что «я» для Вас не важно, потому что я всё это с первого часа знала!

Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами как собака.

Зачем — про собаку? Разве Прекрасная Дама, напутствующая своего Рыцаря на подвиг, ТАК о себе мыслит? Или тут самоуничижение паче гордости?

А вдруг — обмолвка на будущее? Чтобы два десятка лет спустя приписать: «Вот и поеду — как собака. 17 июня 1938», — собираясь за Эфроном в страну, где победила ненавистная революция?

Дочь Ариадна:

«Мама дважды сломала свою жизнь из-за отца. Первый раз — когда уехала за ним из России, второй — когда за ним же вернулась».

Как всё это связать?

Мужу Марины-то Цветаевой, в отличие от её либерального окружения, система убеждений сочетается с безошибочной зоркостью на реалии процесса. У тех — сквозь бесчинства мародёров Февраля мерцает богоподобная Свобода. А ей эта Свобода напоминает «гулящую девку на шалой солдатской груди». У тех — сквозь реквизиции большевиков сияет будущий справедливый строй. А она сознаётся, что, принимая иных из коммунистов, сам коммунизм ненавидит. Их революционность питается ненавистью к самодержавию. А у неё ненависть к самодержцу вспыхивает один раз — за его слабость, и это скорее жалость к царю...

Так что же, Цветаева — монархистка?

Нет! Не более чем «бонапартистка» за десять лет до 1917 года. Наделённая трагическим чутьём на общую беду, она смотрит поверх голов, сквозь всю эту муть и жуть. Ибо видит жуть куда более страшную. Гибель России. А если и спасение России — то через пугачёвское самоуничтожение, через татарский террор, через разинский разгул.

Стенька Разин, я не персияночка, во мне нет двуострого коварства: Персии и нелюбящей. Но я и не русская, Разин, я до-русская, до-татарская, — довременная Русь я — тебе навстречу!

Из этой довременности, вневременности, из кромешного безвыхода — как ей любить избранника, шатающегося от павшей на него роли, самоубийственно неготового к этой роли? Он — НЕ ХОЧЕТ в Добровольческую армию! Но — идёт.

— Теперь о главном. Мариночка, —знайте, что Ваше имя я крепко ношу в сердце, что бы ни было — я Ваш вечный и верный друг. Так обо мне всегда и думайте.

Она, как нормальная жена-солдатка, думает ещё и о том, как обеспечить его — насущным.

Завтра отправлю Вам деньги телеграфом... отправлю Вам простыни, — когда они дойдут? Я страшно боюсь, что потеряются. Отправлю две... Может быть, Вы помните, — куда Вы девали ключ от сундучка?..

И рядом — как ненормальная — не «деньги» мыслит, а всё ту же рыцарскую шпагу, «простыни» режет символическим кортиком, не «сундучок» видит — ларчик волшебный:

На кортике своём: Марина —

Ты начертал, встав за Отчизну.

Была я первой и единой

В твоей великолепной жизни.

Я помню ночь и лик пресветлый

В аду солдатского вагона.

Я волосы гоню по ветру,

Я в ларчике храню погоны.

Погоны Эфрон снимет, когда убедится, что Белое дело безнадёжно.

Её — убеждать не надо: как пифия, она чует катастрофу заранее — и именно в ка­тастрофу в конце концов ввергнется вместе с ним.

Она и теперь — готова. В небытие неизвестности (не в печать, понятно) адресует стихотворение, обозначая адресата инициалами: С. Э.

Писала я на аспидной доске,

И на листочках вееров поблёклых,

И на речном, и на морском песке,

Коньками по льду и кольцом на стёклах, —

На собственной руке и на стволах

Берёзовых и — чтобы всем понятней! —

На облаках — и на морских валах —

И на стенах чердачной голубятни...

Два десятилетия спустя, в отчаянии от неизвестности, она попробует «пристроить» это стихотворение в печать (безумная затея, понятно), прокричав о своей любви — ему, сходящему с ума в застенках НКВД.

И на стволах, которым сотни зим,

И, наконец — чтоб было всем

известно! —

Что ты любим! любим! любим! —

любим! —

Расписывалась — радугой небесной.

Пошла бы к нему туда, в застенок, в 1941-м, как в 1921-м...

Пусть весь свет идёт к концу —

Достою у всенощной!

Чем с другим каким к венцу —

Так с тобою к стеночке.

Свет пойдёт-таки к концу. С поблёклыми веерами, морскими и речными пляжами, кольцами обручальными и радугами небесными. Стеночкой всё кончится. Через двадцать лет.

А пока — отсрочка.

Найдётся за кордоном суженый — и бросится к нему за кордон (а потом обратно — когда вихрем катастрофы его шатнёт возвратиться вспять).

Но прежде чем обрести его ТАМ, надо ещё промаяться до мая 1922 года — ЗДЕСЬ, в государстве, где разинско-пугачёвским огнём запылали ценности, которые и сам Наполеон не смог нам привить. Теперь — горите!

Так вам и надо за тройную ложь

Свободы, Равенства и Братства!

Нет ли в записках этой красной поры тайных знаков мужу-белогвардейцу, всё ещё числящемуся в пропавших без вести?

Есть. Но не в тех записках, что сняты с матерящихся уст «народа» в вагонах, набитых мешочниками. А в тех записках, что сложены во время «служб» в советских идеологических конторах, где пристроились интеллигенты раскладывать по полочкам для начальства вырезки из буржуазных газет.

Мысленный диалог с коллегой, таким же молчаливым «белым негром», то есть таким же вынужденным бездельником:

«Ликвидация безграмотности»... «Долой белогвардейскую свол»... — Это вам — «Буржуазия орудует»... Опять вам... «Все на красный фронт»... Мне... «Обращение Троцкого к войскам»... Мне... «Белоподкладочники и белогвар»... Вам... «Приспешники Колчака». .. Вам... «Зверства белых»... Вам...

Потопаю в белизне. Под локтем — Мамонтов, на коленях—Деникин, у сердца — Колчак.

— Здравствуй, моя «белогвардейская сволочь»! Строчу со страстью.

— Да что же вы, товарищ Эфрон, не кончаете?.. Товарищ Эфрон! (Шёпот почти над ухом. За плечом мой «белый негр», весь красный. В руке хлеб.) — Вы не обедали, может, хотите? Только предупреждаю, с отрубями...

И фамилию носит — мужа-белогвардейца. Не боится же!

Таинственный смысл этого бесстрашия — как всегда, в стихах:

Сижу без света, и без хлеба,

И без воды.

Затем и насылает беды

Бог, что живой меня на небо

Взять замышляет за труды.

Сижу, — сутра ни корки чёрствой —

Мечту такую полюбя,

Что — может — всем своим покорством

— Мой Воин! — выкуплю тебя.

16 мая 1920

Каким же она его два года спустя выкупила?

Из статьи Сергея Эфрона «О Добровольчестве», написанной уже после возвращения и семейного воссоединения в Праге:

Положительным началом, ради чего и поднималось оружие, была Родина. Родина как идея — бесформенная, безликая, не завтрашний день её, не «федеративная», или «самодержавная», или «республиканская», или ещё какая, а как не определимая ни одной формулой и не объемлемая ни одной формой. Та, за которую умирали русские на Калке, на Куликовом, под Полтавой, на Сенатской площади 14 декабря, в каторжной Сибири и во все времена на границах и внутри Державы Российской, — мужики и баре, монархисты и революционеры, благонадёжные и Разины.

Какую Родину он хочет? Не знает. Шатается дух, честный в своём шатании. Готов каяться. Перед кем? Перед Россией? Но её заново укрепляют для себя — красные. Если не признать вину перед ними — то и в Россию не вернуться. Мы же всё ещё белые. То есть мы уже чёрные от грязи...

Плутая меж версиями евразийства, студент Пражского университета, решивший из прапорщиков переквалифицироваться в филологи (сразу надо было в филологи идти!), мучительно перебирает варианты: какая Родина ему нужна.

Рационально ничего тут не объяснить и в сотне трактатов.

Поэтически — хватает четырёх строк:

Знай, в груди моей часы

Как завёл — не ржАвели.

Знай, на красной на Руси

Всё ж самодержавие.

Это — чтобы не вдаваться в оттенки. Так что соизмеряйте силы, рыцарь: выдержите ли Вы то самодержавие, которым на Руси всё оборачивается. А иначе не претендуйте на Русь.

Испытание влюблённых далью заканчивается. Начинается испытание близью. Ясноглазый Эфрон надеется на близость, в которой всё разрешится. Ясновидящая Цветаева готовится к худшему.

Дочь запомнила их встречу:

«Серёжа уже добежал до нас, с искажённым от счастья лицом, и обнял Марину, медленно раскрывшую ему навстречу руки, словно оцепеневшие.

Долго, долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щёки, мокрые от слёз...»

Это не счастливый финал. Это начало предпоследнего акта трагедии.

От пятнадцати эмигрантских лет остаётся не так много напрямую взаимосвязанных текстов — герои живут вместе, семейно, детно. В отличие от предыдущих десяти лет переклик любви восстанавливается по косвенным свидетельствам: по записочкам, по фразам, застрявшим в памяти мемуаристов, по письмам третьим лицам.

Ход событий уже восстановили биографы (лучшая реконструкция, на мой взгляд, сделана Викторией Швейцер, к чьей книге я и отсылаю читателей), лирический же нерв драмы попробую нащупать.

Две измены сразу после встречи подрезают любовь: измена телом и измена душой.

Бурные и громкие романы Цветаевой, свидетелем коих сразу делается Эфрон, исследователями пронумерованы и объяснены; я всё это повторять не хочу; меня интересует душевное состояние двух главных героев, и прежде всего — «Серёженьки».

Исповедуется он — своему старому другу Волошину:

Дорогой мой Макс!

...Марина — человек страстей. Гораздо в большей мере, чем раньше... Отдаваться с головой своему урагану для неё стало необходимостью, воздухом её жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас — неважно. Почти всегда... всё строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, Марина предаётся ураганному же отчаянию. Состояние, при котором появление нового возбудителя облегчается. Что — не важно, важно — как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаянье, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние. И это всё при зорком, холодном (пожалуй, вольтеровски-циничном) уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо). Всё заносится в книгу. Всё спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, а качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая — всё обращается в пламя. Дрова похуже — скорее сгорают, получше — дольше.

Нечего и говорить, что я на растопку не гожусь уже давно.

И впрямь непосильная задача: иметь дело с женщиной, то есть с душой и с телом её, — зная ежемгновенно, что в этой душе и в этом теле живёт дух, который испепеляет в своих видениях и душу, и тело... а они меж тем бунтуют, ибо требуют своего.

Как всегда, мятущееся многословие «Серёженьки» великая поэзия уравновешивает четырьмя строками:

Христианская немочь бледная!

Пар! Припарками обложить!

Да её никогда и не было!

Было тело, хотело жить...

Как всегда, возлюбленный готов устраниться. И душой, и телом:

...О моём решении разъехаться я сообщил Марине. Две недели она была в безумии. Рвалась от одного к другому. (На это время она переехала к знакомым.) Не спала ночей, похудела, впервые я видел её в таком отчаянии. И наконец объявила мне, что уйти от меня не может, ибо сознание, что я где-то нахожусь в одиночестве, не даст ей ни минуты не только счастья, но просто покоя. (Увы, — я знал, что это так и будет.)

Так изживается измена тела. Но нависает и измена души. Уже не с её — с его стороны.

С его стороны, то есть по его душевному самоощущению, — это никакая не измена, а напротив: возвращение к некоей исходной ценности, которая совпадает у Эфрона с именем России. Он и заполняет это имя вариантами наличного содержания. Не важно, какая она будет: самодержавная, республиканская, федеративная или ещё какая, — для Эфрона (как и для огромного числа русских людей, оказавшихся за кордоном в невесомости и честно ищущих опору) это естественная реакция НОРМАЛЬНОЙ души, попавшей в катастрофу.

Для души НЕНОРМАЛЬНОЙ естественно противоположное направление поиска. Для неё катастрофа — не крах того или иного строя ценностей, а фатальная точка отсчёта ЛЮБЫХ ценностей, и от этого камня (отправного на перекрёстке, краеугольного, могильного) отсчёт может вестись только в сторону слабодушия. В сторону ИЗМЕНЫ.

Сергей Эфрон, готовый принять «любую» Россию, — уже изменяет своему добровольческому белогвардейству, не так ли? Но по такой логике его белогвардейство есть не что иное, как измена монархизму, ибо прапорщики, присягнувшие Керенскому, а потом бросившиеся под Белое знамя, эти молоденькие офицеры (вчерашние студенты и гимназисты) никакого царя не признавали и умирать за него не хотели. За царя умирали старики-генералы в орденах да простые мужики, царю и генералам по традиции верящие, — но те монархисты были уже в историческом гробу, а люди эфроновской складки (он всё-таки отпрыск террористов-народовольцев, а не русских православных музейщиков!) вместо царских орденов повесили февральские красные банты и именно эту сезонную свободу пошли защищать от Совдепии...

Так где же кончается верность и начинается измена? Или так оно и идёт по кругу: такая страна, сякая страна... или ещё какая...

Да, так! Именно так это бывает у обыкновенных людей, когда их накрывает эпоха Смуты, Революции, Контрреволюции, войны Мировой, войны Гражданской...

Но если на пути этого мыслеворота попадается душа необыкновенная, зачарованная, для которой всё это коловращение — бренность и мерзость? Если бушует в такой душе наитие стихий, то все евразийские расклады и пасьянсы чем ей должны казаться? Трепетаньем-трепыханьем тварей перед фатумом? А если в это копошеньё втягивается любимый человек? Да понимает ли он, что на каждом шагу должен изменять тем «принципам», за которые держался шагом раньше?

Бесовское чресполосье душ следующим образом описано у Виктории Швейцер: «эмигранты, занимавшиеся, как им казалось, антибольшевистской деятельностью, на самом деле работали на НКВД. Об этом страшно думать...»

Страшно. Если «самое дело» исчерпывается противостоянием тех и этих. Если честные слабости нормальных людей используются бесами из НКВД. Но ещё страшнее думать о том, что и в бесовских органах работают люди честные, верящие в победу самого справедливого строя на шестой части суши, а потом и во всемирном масштабе. И те и другие не подозревают о потаённых целях великих инквизиторов, но видят, что иных вариантов в наличии нет: или ты перестаёшь жить, забываешь, что ты русский, и навсегда теряешь родину, или ты вступаешь в договор с бесами, которые (повторяю) себя считают отнюдь не бесами, а героями, а бесами, причём мелкими, — таких, как ты, перевертыш.

Можно представить себе, с каким запредельным презрением и с каким каменным сердцем должна наблюдать Цветаева этот, по-русски говоря, шабаш. Этот, английским словом говоря, бедлам. А если французским словом (дело-то происходит в Париже) — этот афронт.

По мере того как Эфрон втягивается в евразийское возвращенство, вся эмигрантская рать, и так пронизанная перекрёстной ревностью — завистью — ненавистью, начинает клеймить его как предателя, а его жену — «обтекает», не прикасаясь. На грани бойкота.

Любящая женщина, она бросается на его защиту и даже пишет какие-то «ответы»... Но в глубине окаменевшего сердца таится предзнание куда более страшное. Там гремит приговор ВСЕМУ ЭТОМУ...

Ответы: «Как она не устаёт греметь?.. Нищая, как мы, но с царскими замашками. Ха-ха!» — Издевающиеся юмористы невзначай попадают в декор, изначально совпавший с неприступностью её духа: ЦАРСКИЙ.

Проходить мимо подобных насмешек хоть и тошно, но посильно. Однако советская агентура использует Эфрона для мокрого дела, он проваливается и бежит в СССР, — тогда Цветаевой приходится отвечать уже не газетным насмешникам, а следователям французской полиции. Тут в «ха-ха» не сыграешь. Что она отвечает?

Что в политические дела муж её не посвящал, а сама она занята исключительно писанием стихов?

И начинает читать стихи остолбеневшим следователям. А может, и не остолбеневшим, а насквозь видящим её и жалеющим в ней несчастную женщину?

А может, они уважают в ней безумие великой поэтессы?

Если говорить о самом убийстве Рейсса, — верят ли они, что Цветаева и впрямь ничего не знает об участии Эфрона в этом деле? Вряд ли. Но это уже не так важно. Важно другое: можем ли в это поверить мы?

Конечно, муж не посвящал её в детали тех операций, в которых участвовал, зарабатывая у советских органов прощение за своё белогвардейское прошлое. Операции — секретные, так что о многом Эфрон и обязан был молчать. Но я думаю, что скрывал он от неё «технические подробности» своей энкавэдэшной службы — потому что жалел и берег её. Боялся этим — убить. Кого? Её. И себя, ибо его душа держалась, из последних сил распластываясь на её стойкости.

Она-то в конце концов если не обо всём догадалась, то почуяла — всё. И перед французскими полицейскими просто разыграла поэтическую невменяемость, сменив «царские замашки» на одержимость юродивой... да и было ли это таким уж полным притворством? Великие поэты и впрямь одержимы...

Не тронули её французские особисты, как три года спустя не тронули особисты советские. А может, чуяли, что великого поэта и трогать не надо — он сам себя доведёт до гибели...

Что делать любящей женщине, в душе которой каменеет такое запредельное знание?

Моему дорогому вечному добровольцу, — посвящает поэму «Перекоп».

Расшифровка: Добровольчество — это добрая воля к смерти — эпиграф к «Посмертному маршу».

Сознавая всё, — жена готовится к своему посмертному маршу — туда, куда скрылся муж.

В последние недели её пребывания в Европе Запад, ею любимый (Чехия, Германия, Франция), но далёкий от иллюзионного евразийства её мужа, — даёт ей прощальный пинок. От имени Мировой Истории. Точнее, от мировой политики.

Вообще-то Марина Ивановна политики сторонится. За газетами не следит. Новости узнаёт из разговоров (более всего — от мужа, пока тот ещё не рванул в СССР). Так что на новость, что в Европе появился новый Наполеон и собирается сделать новый Порядок, — могла бы пожать плечами: «Мне никто не сказал». — «Да ведь это же в воздухе носится»...

А разве великий поэт не дышит тем же воздухом?

Да, дышит. Только глубже, чем надо. Тем оглушительнее открытие, что очередной N (о котором ещё никто не решился сказать, что он похож на Наполеона, как котёнок на льва), — котёнок уже растерзал Чехию (где как-никак три года прожила Цветаева до переезда в Париж). Она наконец чувствует, что мировая катастрофа вторгается в её личные пределы. В марте 1939-го ещё можно сказать в полушутку: Спи, богемец, не то немцу, пану Гитлеру отдамі Но когда Богемия ложится к ногам пана, шуточки застревают в горле. Переступая через любовь к Германии (впитанную от матери-немки с детства), Цветаева выкрикивает, выкашливает, вырывает из сердца — что? — да ВСЮ вот эту жизнь! Как сказал автор «Бесов», билет Богу возвращает.

Рождаются последние стихи, обожжённые гениальностью. Финальные. Антигимн антижизни.

О чёрная гора,

Затмившая — весь свет!

Пора — пора — пора

Творцу вернуть билет.

Отказываюсь — быть.

В Бедламе нелюдей

Отказываюсь — жить...

Не надо мне ни дыр

Ушных, ни вещих глаз.

На твой безумный мир

Ответ один — отказ.

На этом великая поэзия умолкает. Дальнейшие стихи — в СССР — либо полушутливые, на случай («реплика» Тарковскому), либо переводы («ах, восточные переводы, как болит от них голова» — «реплика» Тарковского).

Стихами к Чехии великий поэт замыкает уста. Закончен цикл 11 мая 1939 года.

12 июня советский пароход отчаливает из Гавра.

Как только я ступила на трап, я поняла, что всё кончено.

18 июня пароход причаливает к советским берегам.

Цветаеву поселяют в подмосковном Болшеве на даче НКВД, где уже обитают Сергей Эфрон и Ариадна (рванувшая из Франции в СССР двумя годами раньше).

В отличие от 1922 года дочь не описывает встречу родителей, — может, она при встрече и не присутствует: распропагандированная отцом, она всё время проводит в Москве среди друзей-комсомольцев и пылает общим советским энтузиазмом.

Сергей Яковлевич живёт в одной из двух комнатушек («за перегородкой»), другая предоставлена Марине Ивановне и их детям.

В отличие от Цветаевой, находящейся преимущественно в состоянии подавляемой ярости, Эфрон ровен и приветлив как с членами воссоединённой семьи, так и вообще с окружающими. Правда, иногда, если вслушаться, можно подумать, что из его комнаты доносятся рыдания. Возможно, Сергей Яковлевич уже понимает, в какую ловушку попал и на какую судьбу обрёк жену, дочь и сына, но, общаясь с ними, старается не подать вида.

Письменных свидетельств их семейного общения мало; есть косвенные. Например, словесный портрет Цветаевой (и сына, прозвищем Мур), оставленный поэтессой Верой Звягинцевой: Марина (вопреки ожиданиям) «совершенно другая, дамская. В нормальном платье, гладкая, аккуратная, седая. И сын как будто вырезанный из розового мыла».

Почему «совершенно другая»? Потому что влюблённые в неё с 20-х годов читатели стихов привыкли не к «даме», а в лучшем случае к «Царь-Девице». Ей и вообще не важно, как выглядеть: чёлка так чёлка, пенсне так пенсне, а если пальцы черны от чистки картошки, — так пусть! Ничего «нормального»!

А тут — седые кудерьки, завитые по московской «норме» 30-х годов. Внешность — то ли учительницы, то ли библиотекарши. Законопослушная советская интеллигентка.

Какой вулкан затаился за этой наведённой гладкостью?

Арест дочери в августе 1939-го позволяет нам заглянуть в преисподнюю: сохранилась запись, год спустя (в 1940-м) сделанная Цветаевой. Сделанная — с содроганием.

27-го в ночь, к утру, арест Али. — Московский Уголовный Розыск. Проверка паспортов. Открываю — я. Провожаю в темноте (не знаю, где зажигается электричество) сквозь огромную чужую комнату. Аля просыпается, протягивает паспорт. Трое штатских. Комендант. —А теперь мы будем делать обыск. — (Постепенно — понимаю.) Аля — весёлая, держится браво. Отшучивается... Скверность — лиц: волчье-змеиное. — Где же Ваш альбом? — Какой альбом? — Ас фотокар­точками. — У меня нет альбома. —У каждой барышни должен быть альбом. (Дальше, позже: — Ни ножниц, ни ножа... Аля: — Ни булавок, ни иголок, ничего колющего и режущего.) Книги. Вырывают страницы с надписями. Аля, наконец, со слезами (но и улыбкой): — Вот, мама, и Ваша Colett поехала! (Взяла у меня на ночь Colett — La Maison de Claudine.)...

Всех знобит. Первый холод. Проснувшийся Мур оделся и молчит. Наконец, слово: Вы — арестованы Аля хочет уйти в «босоножках» (подошвы на ремнях). Приношу кое-что из своего (тёплого). Уходит, не прощаясь! Я — Что ж ты, Аля, так, ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо — отмахивается. Комендант (старик, с добротой) — Так — луч­ше. Долгие проводы — лишние слёзы...

Отец так и не показывается из своей комнаты. Он вступает в действие на следующий день — пишет заявление на имя товарища Берии: ручается головой за политическую честность дочери.

Этот жанр — заявление на имя товарища Берии — очень скоро освоит и Цветаева. Это, можно сказать, финал их с Эфроном письменного общения — через такого интересного посредника. Лебединая песнь их любви в ритме тюремных передач.

За Эфроном придут пять недель спустя — в октябре 1939-го. О последнем прощании в записях Цветаевой — ни слова. Кто-то из понятых (домработница? сосед?) запомнил, что осенила его вслед широким крестным знамением. Словно с небес.

«Она вся в облаках и вне времени». Это уже не от домработницы, это — от читательницы, знающей, что Цветаева — гений. Знают! А всё ж недолюбливают. Чего приехала? Чего не хватало за границей? Соображала же, на что идёт! Теперь вот мучается, чистит картошку на общей кухне. Вдруг поднимет голову:

К чему это всё? В чём смысл всего?

Небожительница... «Как выдумала себя, так выдуманная и живёт».

Невыносимая, невыполнимая стилистическая задача — письмо товарищу Берии. Как сохранить достоинство и притом докричаться?

Товарищ письма, наверное, и читать не стал. А может, бросил на первой строчке:

Товарищ Берия...

Вот так: без «дорогого» и даже без «уважаемого». С царской осанкой.

Обращаюсь к Вам по делу моего мужа... и моей дочери...

Ни жалобы, ни гнева. Призыв к справедливости. Не более.

...Кончаю призывом о справедливости. Человек душой и телом, словом и делом служил своей родине и идее коммунизма (Всё — правда: Эфрон этой идее служил, Цветаева — нет. — Л. А.). Это — тяжёлый больной, не знаю, сколько ему осталось жизни — особенно после такого потрясения. Ужасно будет, если он умрёт не оправданный.

Если это донос, т. е. недобросовестно и злонамеренно подобранные материалы — проверьте доносчика.

Если же это ошибка — умоляю, исправьте пока не поздно.

Умоляю — подчёркнуто самой Цветаевой. Единственное слово, вырвавшееся не у сдерживающей бешенство богини, а у любящей женщины, чья душа кровоточит от горя.

Зато в последних записях для себя кровоточит каждое слово.

При запросе сведений есть только один способ понять, жив ли человек, замурованный в застенках: примут или не примут передачу. Примут — значит, жив. Не примут...

Из письма Цветаевой сестре Сергея Яковлевича.

3 октября 1940. ..Спешу Вас известить: С. на прежнем месте. Я сегодня сидела в приёмной полумёртвая, потому что 30-го мне в окне сказали, что он на передаче не числится (в прошлые разы говорили, что много денег, но этот раз — определённо: не числится). Я тогда же запросила на обороте анкеты: состояние здоровья, местопребывание. Назначили на сегодня. Сотрудник меня узнал и сразу назвал, хотя не виделись мы месяца четыре, — и посильно успокоил: у нас хорошие врачи и в случае нужды будет оказана срочная помощь! У меня так стучали зубы, что я никак не могла попасть на «спасибо»...

«Хорошие врачи» — это психиатры. Можно предположить, КАКАЯ помощь и почему понадобилась Сергею Яковлевичу (вот так же на первых допросах впал в безумие Заболоцкий, и это не было симуляцией). Но ни звука, ни строчки не доносится оттуда, где выколачивают показания. Много лет спустя цветаеведы, пробившиеся в архивы госбезопасности, прочтут, наконец, обрывки из того, что заносят в протоколы допросов дознаватели.

— Я не отрицаю того факта, что моя жена печаталась в белоэмигрантской прессе, однако никакой политической антисоветской работы она не вела.

— Вы эту работу скрываете! (напирает следователь).

— Я не скрываю. Я отрицаю.

Приговор «подписан» ещё до ареста: госбезопасность старается не оставлять в живых своих провалившихся агентов.

Почему-то Эфрона не расстреляли, как его подельников, в июле 1941 года. Он прожил ещё 102 дня — в камере смертников. Казнили его в числе 135 других («особо ценных»?) зеков в октябре, когда немцы подошли вплотную к Москве и в столице началась паника; тогда спешно добили тех, кого оставили (про запас? на случай новых «дел»?), испугались, что они попадут живыми в руки немцев (и те используют их для фабрикации СВОИХ «дел»).

Что может прибавить ко всем этим откровениям каземата великая поэзия?

Всеми пытками не исторгли!

И да будет известно — там:

Доктора узнают нас в морге

По не в меру большим сердцам.

Великая поэзия подсказала это — предсказала задолго до финала трагедии.

Когда поэзия онемела, финал озвучился в другом жанре.

В предсмертной записке сыну:

Передай папе и Але — если увидишь, — что любила их до последней минуты...

\* \* \*

Выпало бы им жить в более счастливую эпоху — прожили бы, как полагается, до ста лет вместе и умерли бы в один день.

Сорок пять дней разделяют её само убийство и его казнь.

В одном судьба сжалилась над ними: они не узнали о гибели друг друга. Он был ещё жив, когда она прилаживала петлю, и она верила, что он жив. А когда его поставили к стенке, он о её конце не знал и тоже верил, что жива.

**Источник:**

Аннинский, Л. Эфронт Марины Цветаевой / Л. Аннинский // Родина. — 2007. — № 9. — С. 100—106.